

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

О законе сохранения интеллектуальной энергии

Мое поколение — поколение ровесников Октября — росло, училось, созревало в атмосфере, которую теперь можно назвать удушливой. Глядя из 1997 года в тридцатые и пятидесятые, мы отчетливо видим, что именно ограничивало наше движение, чего не могли добиться наши современники и чего бы они добились при другом режиме.

Недавно, в январе нынешнего года, один за другим умерли три замечательных историка: Михаил Борисович Рабинович, Михаил Яковлевич Геллер и Давид Петрович Прицкер. Рабинович дожил почти до девяноста лет; Геллеру было под семьдесят, Прицкеру около восьмидесяти. Все трое были евреи — это само по себе мешало научной карьере каждого из них. М. Б. Рабинович хлебнул лиха полной мерой: много лет он провел в сталинских лагерях, воевал, голодал, терял одного за другим своих однокашников — одни оказались врагами народа, других убили на войне, третьи умерли во время ленинградской блокады; сам Михаил Борисович последние лет двадцать пять жил сравнительно благополучно, но публиковал уже мало. Благополучием он был отчасти обязан жене, Елене Григорьевне Левенфиш, дочери знаменитого шахматиста (чемпиона СССР), которая благодаря славному прошлому отца могла стать директором Репинского музея «Пенаты» в поселке Куоккала (Репино). М. Б. Рабинович приобрел известность отличным словарем мифологии греков и римлян, составленным им совместно с другим «классиком», М. Н. Ботвинником. Незадолго до смерти он увидел изданной книгу своих мемуаров — «Воспоминания долгой жизни», которую выпустило в свет новое петербургское издательство «Европейский дом», решившееся на благородное дело: публикацию целой серии воспоминаний ленинградско-петербургских ученых. Книга Рабиновича написана со свойственным автору беззлобным и умным юмором, но читать ее мучительно трудно: испытываешь попеременно ужас,

стыд, отчаяние, отвращение... Сколько образованнейших, талантливых, обещавших историков погибло в застенках, лагерях, тюрьмах, скольких убили немцы — несчастных ополченцев, брошенных на немецкие танки невооруженными и необученными, скольких других, чудом оставшихся в живых после войны и нескольких волн террора, наука недосчиталась — им пришлось зарабатывать чем попало, на таких случайных работах, куда брали несмотря на убийственный пятый пункт. Мемуары М. Б. Рабиновича — ценный документ эпохи: он, этот документ, свидетельствует о том, с какой спокойной систематичностью уничтожалась история в нашей стране.

Второй — М. Я. Геллер — тоже долго сидел в тюрьме, потом в лагерях. В известном смысле ему повезло: он вовремя уехал в Польшу, оттуда во Францию, где стал профессором Сорбонны, а позднее, выйдя на пенсию, обозревателем парижской эмигрантской газеты «Русская мысль», где еженедельно, год за годом, печатал аналитические статьи о российских делах. Совместно с другим эмигрантом-историком А. М. Некричем, умершим в США несколько лет назад, Геллер выпустил интересную книгу «Утопия у власти», переведенную на все важнейшие языки, опубликовал ряд исторических работ: «Машина и винтики», «Концентрационный мир и литература», «Андрей Платонов в поисках счастья»... М. Я. Геллер успел при жизни сказать своим читателям многое — эту возможность дала ему французская демократия; Россия же сделала всё, чтобы заткнуть ему рот и придушить его. Он был прекрасный публицист и серьезный ученый, но России по-настоящему не знал, да и не мог знать: он был убежден, что в нашей стране были только палачи и жертвы; о том, что между этими двумя категориями существовала и как-то перебивалась российская интеллигенция, он и слышать не хотел. Впрочем, это заблуждение было распространено в эмиграции, прежде всего в кругах В. Максимова и его журнала «Континент». А ведь культура у нас была, огромная культура. Об этом — ниже.

Третий — Давид Петрович Прицкер. Его не сажали, не травили, не пытали. Много лет он состоял в КПСС, заведовал кафедрой международного рабочего движения в Высшей партийной школе, располагавшейся в Таврическом дворце в Ленинграде. В молодости Прицкер был послан, как другие его (и мои) сокурсники, переводчиком в Испанию и воевал в составе интернациональных бригад; это на всю жизнь определило его интересы. В начале шестидесятых он издал хорошо написанную книгу «Подвиг Испанской республики», написал об этом времени немало статей. Правду о расправе Сталина с «троцкистами» и «анархистами» он знал лучше других, но принужден был молчать о ней, помня, какая судьба постигла многих испанских ветеранов, — в частности и потому, что они что-то знали,

чего знать не полагалось. Во время войны с Германией он работал в штабной разведке Карельского фронта; его донесения пользовались известностью как аналитические сочинения образцовой содержательности. Кем он числился? Кажется, просто переводчиком. Ордена и звания получали другие; он не поднялся выше капитана.

Давид Прицкер был человек, предназначенный природой для дипломатической службы: обширный ум, редкая память на имена, даты, лица, знание нескольких языков — французского, немецкого, испанского, английского, удивительное красноречие (нет, не краснобайство) и неотразимое обаяние. Сколько раз, глядя на позоривших мою страну Молотова и Вышинского (это — после Чичерина, после Литвинова!), я думал о том, как достойно, красиво, успешно, талантливо ее представлял бы Давид Прицкер! А ведь Прицкер и мечтал о дипломатической карьере, он был учеником другого несостоявшегося блестящего дипломата, Евгения Тарле. Но он был Прицкер; в стране реального социализма он в лучшем случае мог работать в Высшей партийной школе. Не поразительно ли, что наши Талейраны заведовали кафедрами международного рабочего движения? Нет, это вполне естественно, если вспомнить, что наши Наполеоны были шахматными гроссмейстерами.

Как мощна Россия! Много десятилетий правящая олигархия делала все, что могла, чтобы помешать талантливым людям реализовать себя. Я рассказал о трех историках — ни один из них не осуществил всего, что хотел, что прославило бы его самого и его научную школу. Назову еще нескольких близких мне людей. Со мной учились на филфаке ЛГУ Элеазар Кревер и Давид Франкфурт; оба были незаурядно талантливыми романистами, специализировались на французской литературе, тоже побывали в Испании. В самом начале войны их бросили навстречу наступавшей гитлеровской армии — даже без винтовок. Они погибли. Это — жертвы вопиющей бездарности советского руководства, как и Алексей Дьяконов, погибший двадцати с небольшим лет в ополчении. К счастью, на второй год войны многие стали определять мобилизованные в армию беспартийные интеллигенты; если бы им не мешали партийные секретари, новоиспеченные генералы, политруки, мы выиграли бы войну без многих миллионов лишних жертв. Как мощна Россия! Она сумела устоять, несмотря на усилия правящей олигархии обескровить и обезинтеллигентить ее. Представим себе, какой была бы наша страна, если бы нас не убивали, не сажали, не гноили на Беломорканале! Если бы, например, на филфаке ЛГУ Владимир Яковлевич Пропп преподавал не немецкий язык (его сослали на грамматику!), а «морфологию волшебной сказки»; Максим Исаакович Гиллельсон не вкалывал на общих работах в лагере, а вел семинар по «Арзамасу»

и русской эпиграмме; Юлиан Григорьевич Оксман не работал банщиком в одном из магаданских лагерей, а читал лекции о Белинском, Герцене и Гоголе; если бы Григорий Александрович Гуковский не умер сорока восьми лет в тюрьме МВД, находясь под следствием по придуманному провокаторами делу, а его ближайший ученик Илья Захарович Серман не сидел в лагере, а продолжал изучать русский XVIII век в архивах Ленинграда и Москвы... Они остановили гуманитарную науку, отлучили от нее последних интеллигентов в сталинские последние годы, а потом, в брежневские, отправили немногих уцелевших в изгнание — в США, в Израиль, в Европу. Слава Богу, выжил Юрий Михайлович Лотман: его спасла Эстония. А он там, в Тарту, отстаивал честь нашей филологии.

* * *

Итак, палачи и жертвы. Что и говорить, общество делилось на тех и других. Тактика правящей олигархии в отношении к интеллигенции сводилась к тому, чтобы, уничтожая одних, всех других втягивать в лагерь «уничтожителей». Все те, кого пока не сажали и не изгоняли, должны были проголосовать за казнь своих собратьев, — увы, большинство так и делало: голосовали, подписывали воззвания в газетах с требованием казнить, изгнать, устранить. И все же между палачами и жертвами оставалась «прослойка», огромная, могучая, неустраняемая «прослойка». Не потому ли интеллигенцию и вообще так называли — «прослойкой»?

В советское время осуждению и запрету подверглись целые науки — такие, как генетика, кибернетика, педология, евгеника, идеалистическая философия, не-сталинское языкознание, компаративистика в литературоведении и лингвистике, психоанализ. Были запрещены пессимизм, «формальные эксперименты» в поэзии, живописи, театре, любые проявления авангардизма, абсурда; в музыке всякое отступление от классической формы объявляли подозрительным подражанием гнилому Западу. В литературе цензура вычеркивала упоминания о Боге, церкви, потустороннем мире, мистических явлениях. В исторических трудах преследовалось все, что вступало в противоречие с официальной трактовкой, запечатленной в таких пособиях, как «Краткий курс истории ВКП(б)», «История гражданской войны», «История Великой Отечественной войны».

Запреты российская культура научилась обходить. На моей памяти стихотворение, осужденное цензурой как пессимистическое и упадническое, редактор (Минна Исаевна Дикман) озаглавила «Перечитывая Хемингуэя», и оно спокойно одолело барьеры. Стихотворение Анны Ахматовой памяти Пастернака, который умер

в 1960 году, было датировано более ранним годом (1957) — и этого оказалось достаточно. Вообще запреты вызвали к жизни интересное искусство — обходного маневра. Когда-то Пушкин с издевкой говорил цензору:

На всё кидаешь ты косою, неверный взгляд.
Подозревая всё, во всём ты видишь яд...
...Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему, —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.

Искусство обходного маневра было, как видим, известно давно, и уже в 1822 году существовал Самиздат. Но это искусство особенно расцвело в период советской цензуры. Не сомневаюсь, что мастером его был Николай Заболоцкий; когда он в 1936 году писал:

Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи,
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи...

то речь шла, вероятно, не только о месяце августе и об охоте, но и об Августе — императоре, а «железный Август» (да еще в сапогах!) должен был напомнить и «железного Феликса», и Сталина. Все это почти неуловимо — во всяком случае не прямо криминально. Иосиф Бродский любил говорить, что цензура порождает метафоры. Гнет бывает полезен — в данном случае он, угнетая прямое высказывание, способствует расцвету косвенных форм речи.

Режим душил поэтов, — большинство из них были обречены на молчание или на творчество лишь в узких пределах дозволенного. Зато режим был заинтересован в изданиях иностранных классиков: это создавало иллюзию интенсивной культурной жизни. Поэты стали переводчиками — в таком масштабе, который был неизвестен в истории мировой литературы. Шиллер и Гете, Рильке и Бодлер, Малларме и Петефи тоже понемногу переводили, однако ограничивались тем, что каждому из них было творчески необходимо. Рильке, например, перевел одно стихотворение Лермонтова — «Выхожу один я на дорогу»; перевод этот гениален, он один может открыть немцам суть лермонтовской лирики. Из французской поэтессы Ренессанса Луизы Лабе Рильке перевел всего несколько стихотворений.

А Пастернак перевел «Фауста» Гете — обе части, все главные пьесы Шекспира, Шиллера, Клейста, стихи Верлена, Петефи, Словацкого, Лесьмяна, Гёте, множества других поэтов разных языков и веков. Все современники Пастернака были поэтами-переводчиками — даже те, которые считали перевод занятием вредным, зряшным расходом умственной энергии. Анна Ахматова оставила нам образцы египетской и корейской поэзии, стихи Гюго, Леопарди, поляков; Заболоцкий — всех грузинских романтиков, не говоря о Руставели и «Слове о полку...»; Маршак — сонеты Шекспира, песни Бернса, лирику Гейне; а Леонид Мартынов, а Давид Самойлов, а Борис Слуцкий, а Илья Эренбург, а Мария Петровых, а Марина Цветаева... Последняя, едва приехав в СССР, создала изумительные переводы Бодлера («Плавание»), Лорки и немецких народных песен. Где еще такое видано? Французские поэты XX века, такие, как Сен-Жон Перс, Рене Шар, Мишо, Превьер, Элюар, Пьер Эмманюэль, иногда баловались переводом, не более того. Американцы, англичане, шведы — тоже. А мы — мы создали в двадцатом столетии громадную переводную поэзию, ставшую важнейшим элементом нашей культуры.

Я назвал только видных поэтов, ставших и переводчиками. Были среди поэтов такие, которые годами знакомили читающую публику только со своими переводами, собственные же стихи, поэмы, драмы писали в стол: Семен Липкин, Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг, Георгий Шенгели... Позднее они прославились и оригинальным творчеством. Но существовала также самостоятельная, колоссальная переводческая школа — профессионалов поэтического перевода, поднявших это искусство на небывалую высоту (впрочем, в России были и прежде несравненные мастера — Жуковский, В. Курочкин, Холодковский, Брюсов, Вяч. Иванов); старшие среди них — Михаил Лозинский и Бенедикт Лившиц. Золотой век поэтического перевода славен именами Вильгельма Левика, Льва Гинзбурга, Константина Богатырева, Овадия Савича, Мориса Ваксмахера, Льва Пеньковского — это москвичи, а в Ленинграде в то же время плодотворно и неутомимо работали Татьяна Гнедич, Эльга Линецкая, Михаил Донской, Юрий Корнеев, Владимир Шор, Сергей Петров, Иван Лихачев, Елизавета Полонская, Тамара Сильман, Михаил Дьяконов, Алексей Шадрин, Александр Энгельке. Называю только покойных мастеров — некоторые еще, слава Богу, живы. На Западе нередко пишут о сталинском и послесталинском времени «реального социализма» как об эпохе варварства, перерыва в движении российской культуры; о нашей переводческой школе, об этом своеобразном ренессансе иностранцы не знают, им это не слишком интересно. Мы и сами часто забываем о том, какое сказочное богатство создали в недавнем прошлом; напомним бегло лишь несколько поэтических

книг: «Песнь о Нибелунгах» и «Песнь о Роланде» (Ю. Корнеев), «Дон Жуан» Байрона (Т. Гнедич), «Поэтическое искусство» Буало (Э. Линецкая), стихи Киплинга (Е. Полонская), трагедии Расина (М. Донской), лирика Бодлера (Ариадна Эфрон, Павел Антокольский), эпические творения Востока (С. Липкин), «Песни вагантов» и немецкая поэзия Тридцатилетней войны (Лев Гинзбург), «Германия. Зимняя сказка» Гейне (Юрий Тынянов, Вильгельм Левик), «Витязь в тигровой шкуре» Руставели (Заболоцкий — два варианта, один из них для детей), «Божественная комедия» Данте (Михаил Лозинский)... Во всем мире у России в этой области нет соперников.

Отчего возникла такая небывалая культура перевода? Оттого, что, как пели в свое время у нас, «эту песню не задушишь, не убьешь». И дело не только в том, что за переводы хорошо платили и гонорары давали возможность жить и кормить семью: в переводных стихах поэт мог выразить себя, свое отношение к миру — природе, свободе, слову, любви, небесам, искусству, материи и духу. Павел Антокольский переводил Огюста Барбье, и довольно близко к подлиннику; но сколько в русском Барбье его, Антокольского, страстей, бешенства, тяги к духовной независимости, к освобождению от партийной опеки! «Песни вагантов» Льва Гинзбурга пели под гитару советские студенты: «Вершина знаний, мысли цвет — таким был университет. А нынче, волею судеб, он превращается в вертеп!..» Похоже на оригинал? Похоже, но здесь слышится и голос самого Гинзбурга, и отзвуки его времени.

По-видимому, в культуре дело обстоит так: заткнешь в одном месте — мысль, талант, слово вырвутся в другом. Невероятный расцвет шахматной игры в СССР объясняется не только тем, что у нас было много кружков во дворцах пионеров и что шахматы поощрялись партийно-государственным начальством как безопасное интеллектуальное творчество. В послереволюционной Франции появилось сразу несколько блестящих молодых полководцев — генерал Бонапарт был одним из них; рядом с ним были Гош, Моро, другие. В советское время и Гош, и Моро, и даже Бонапарт стали бы шахматистами. Может быть, даже Ленин, живи он при Сталине, занимался бы не партийной политикой, а шахматами. Среди наших шахматистов много евреев; потому ли, что именно еврейский ум генетически склонен к разработке дебютов и эндшпилей? Евреям давно уже нельзя было работать в дипломатии, продвигаться в армии, заниматься теоретической физикой. Надо ли удивляться тому, что мальчишки из еврейских семей увлекались шахматами и становились мастерами?

Интеллектуальная энергия устремлялась в такие области, где она могла найти наиболее полное применение. Одной из важнейших таких областей было различного рода исполнительство. Оригинальное

творчество подвергалось неусыпному контролю; стоило композитору проявить самостоятельность в поисках новых путей, как его одергивали в «Правде»: «Сумбур вместо музыки!» Скрипачей, пианистов, певцов никто не трогал; напротив, начальство ценило первые места, завоеванные на международных конкурсах. Победителям конкурсов давали ордена и квартиры. Гилельс, Ойстрах, Гольдштейн поощрялись партией, несмотря на их «неблагозвучные» фамилии: они поддерживали миф о советском социализме как земле обетованной для культуры. И шахматисты, и скрипачи, занимая первые места, эффективно способствовали пропаганде советского приоритета: «И даже в области балета мы впереди планеты всей!» Этому же служил спорт: победители прославлялись как образцовые советские люди — герои режима. На их поощрение денег не жалели. Однако, повторю, расцвет исполнительства, как и расцвет шахмат и перевода, был следствием не только денежных поощрений, но и возможности проявить силу своего духа.

Марина Цветаева восхищалась советской детской поэзией; она справедливо замечала, что нигде в мире нет таких искрящихся стихов, как маршakovские «Детки в клетке». А какие удивительные по блеску и изобретательности стихи писал для детей Даниил Хармс! Тот самый Хармс, который был автором абсурдной прозы и великолепной поэзии, — однако печатать он мог только детские считалки, шутки, прибаутки, вроде: «Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор...» Наша детская поэзия была тоже особой формой сублимации. Николай Олейников издавал журналы «Еж» и «Чиж», вместо того чтобы общаться с теми читателями, которым были предназначены его гениальные юморески: «Жареная рыбка, дорогой карась, где ж ваша улыбка, что была вчерась?» Позже появились Агния Барто и Сергей Михалков — они уже могли беспрепятственно двигаться по путям, проложенным Маршаком и оберютами. Однако начало блестящей детской поэзии связано с теми, кому заткнули рты в другой области литературы.

Закон сохранения интеллектуальной энергии проявлялся везде, где ее почему-либо не душили. Этим объясняется расцвет нашей пушкинистики: Пушкин был поднят на щит, как чемпион в спорте или как победитель международного конкурса, и пушкинистика оказалась поощряемой областью филологии. В известном смысле это случайность, хотя прославление Пушкина было одной из форм «вождизма», без которого советская идеология немислима: ведь именно «вождизм» требовал канонизации Станиславского в театре, Павлова в физиологии, Горького в прозе, Маяковского в поэзии, Репина в живописи, сначала Марра, а потом Сталина в лингвистике... Каждый из этих «вождей» мало годился для такой роли. Но для

режима важнее было, чтобы повсюду во главе стоял *один*, чем чтобы этот один *подходил* по характеру своей деятельности. Ну разве годился в законодатели поэзии бунтарь Маяковский, который был способен по пьянке сказать Пушкину: «Мне приятно с вами, — рад, что вы у столика. Муза это ловко за язык вас тянет. Как это у вас говаривала Ольга?.. Да не Ольга! из письма Онегина к Татьяне...» Хулиган, ниспровергатель кумиров, но зато — один, главный, местный «вождь». Вот и Пушкин, который совсем не годился в предшественники соцреализма, был избран «вождем». На этой aberrации мы заработали книги таких блистательных ученых, как Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский, Ю. Г. Оксман, Г. А. Гуковский, В. В. Виноградов, С. М. Бонди, Д. Д. Благой, Ю. Н. Тынянов, позднее Н. Я. Эйдельман, Ю. М. Лотман и другие.

Было ли нечто подобное в гитлеровской Германии? Нет. Во-первых, германский тоталитаризм существовал недолго, всего двенадцать лет, да и эти годы были заняты почти непрерывными изнурительными войнами. Но если бы и не было войн, двенадцати лет для такого процесса, о котором я тут повествую, мало: к 1929 году у нас он едва начинался, а ведь именно тогда исполнилось двенадцать лет советского режима. Во-вторых, с нацистским режимом интеллигенция сосуществовать не могла даже внешне, даже «обманным» образом: идеология нацизма с самого начала была откровенно людоедской; она открыто призывала к уничтожению расово неугодных ей групп — евреев, цыган, славян; она отвергала всякие признаки демократии; она воспевала германско-имперские порядки; никакие достижения мировой культуры ее не привлекали — тут престижные соображения не действовали. В Советском Союзе было иначе: фасад казался приемлемым, проповедовался гуманизм, интернационализм, уважение к цивилизациям малых народов, к литературам всех языков. Позади фасада были застенки. Этого многие не знали, а те, кто знал, нередко делали вид, что принимают фразеологию пропаганды на веру; кое-кто искренне считал, что пропаганда может каким-то чудом обернуться действительностью.

* * *

Одна из важнейших задач культуры в нынешней России — не забыть о прежних завоеваниях. Что и говорить, завоевания эти не от хорошей жизни, но они есть. Мы не должны потерять то, что с таким трудом накопили за много десятилетий.